

Н.Н. Наседкин

Макар Девушкин

Девушкин Макар Алексеевич — главный герой романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди», чиновник 9-го класса (титулярный советник), бедный одинокий человек средних (45–46) лет, полубивший молодую девушку Вареньку Доброселову и переживший с ней трогательный «эпистолярный роман» — встречались они совсем редко, в основном в церкви, но зато писали друг другу письма через день да каждый день. В простодушных письмах Девушкина и вырисовывается ярко весь его характер, вся судьба, его повседневное бытие: «Начну с того, что было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил я вицмундиров довольно; возмужал, поумнел, людей посмотрел; пожил, могу сказать, что пожил на свете, так, что меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам, право, не лгу. Так что же, маточка, — нашлись на все это злые люди! А скажу я вам, родная моя, что я хоть и темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А срамно сказать, что он сделал; спросите — отчего сделал? А оттого, что я смиренный, а оттого, что я тихонький, а оттого, что добренький! Не пришелся им по нраву, так вот и пошло на меня. <...> Нет, маточка, видите ли, как дело пошло: все на Макара Алексеевича; они только и умели сделать, что в поговорку ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня поговорку и чуть ли не бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: все не по ним, все переделать нужно! И ведь это все с незапамятных времен каждый божий день повторяется. Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смиренный человек, потому что я маленький человек; но, однако же, за что это все? Что я кому дурного сделал? Чин перехватил у кого-нибудь, что ли? Перед высшими кого-нибудь очернил? Награждение перепросил! Кабалу стряпал, что ли, какую-нибудь? Да грех вам и подумать такое-то, маточка! Ну куда мне все это? Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности, достаточные для коварства и честолюбия? Так за что же напасти такие на меня, прости Господи? Ведь вы же находите меня человеком достойным, а вы не в пример лучше их всех, маточка. <...> У меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый; но он есть, трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю! Что, грех переписывать, что ли? “Он, дескать, переписывает!” “Эта, дескать, крыса чиновник переписывает!” Да что же тут бесчестного такого? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть, и его превосходительство довольны; я для них самые важные бумаги переписываю. Ну, слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то я и службой не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затей и так, как мне мысль на сердце ложится... Я это все знаю; да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю и вас прошу отвечать на него, маточка. Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим и что нечего вздором человека с толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли! Да крыса-то эта нужна, да крыса-то пользу приносит, да за крысу-то эту держатся, да крысе-то этой награждение выходит, — вот она крыса какая! Впрочем, довольно об этой материи, родная моя; я ведь и не о том хотел говорить, да так, погорячился немного. Все-таки приятно от времени до времени себе справедливость воздать...»

В другом письме, рассуждая о повести Гоголя «Шинель», Макар Алексеевич так себя характеризует: «Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны; хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил — ну да уж что! <...> Так после этого и жить себе смиренно нельзя, в уголочке своем, — каков уж он там ни есть, — жить водой не замутия, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели — что, дескать, как ты себе там подомашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем писать про другого, что вот де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрагивают!..»

И еще чуть позже Девушкин добавляет характерные штрихи: «Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: смиренно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. А здесь шум, крик, гвалт! Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, точно номера, все так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти номера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег! Впрочем, кажется, люди хорошие, все такие образованные, ученые. <...> Я живу в кухне, или, гораздо правильнее будет сказать, вот как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный... то есть, или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, номер сверхштатный; все просторное, удобное, и окно есть, и все, — одним словом, все удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! — то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше, — может быть, есть и гораздо лучшие, — да удобство-то главное; ведь это я все для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь — все веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната, со столом, тридцать пять рублей ассигнациями стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне все равно, я не прихотлив. Положите так, для карманных денег — все сколько-нибудь требуется — ну, сапожишки какие-нибудь, платьишко — много ль останется? Вот и все мое жалованье. Я-то не ропщу и доволен.

Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку — недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да, знаете ли, все как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю: у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку...»

Здесь весьма характерны настойчивые упоминания о чае: сам Достоевский за несколько лет до того, во время учебы в Инженерном училище, писал из летнего лагеря отцу — М.А. Достоевскому (5–10 мая 1839): «Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества <...> лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег. (Я Вам пишу все это потому, что я говорю с отцом моим). В эту сумму я не включаю таких потребностей, как например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мною случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю...» Между тем, в лагерях давали казенный чай два раза в день. Чай для Достоевского на протяжении всей его жизни играл роль не только любимейшего напитка, но и мерила-границы какого-никакого благополучия. Если уж у человека своего чаю нет, это даже не бедность, это нищета; а нищета — это уж точно, как сформулирует позже в «Преступлении и наказании» Мармеладов, порок: дальше, господа, больше некуда! Чай послужит, так сказать, и основой известного амбициозного восклицания-девиза героя «Записок из подполья» о том, что, мол, пусть лучше весь белый свет в тартарары провалится, а только б ему чаю напиться.

Как ни парадоксально звучит, но ведь, по существу, Макар Алексеевич Девушкин — писатель, литератор, сочинитель. Хотя он и сам вроде бы признается Вареньке, что обделен даром свыше: «И природа, и разные картинки сельские, и все остальное про чувства — одним словом, все это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту. Хоть десять страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал...» Это «я уж пробовал» прямо говорит о литературных попытках Макара Алексеевича. Видимо, разуверившись в своих силах, он для самоуспокоения и тешит себя риторическими вопросами: «...если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать?» Но для читателя не секрет, что герой романа явно скромничает. Ведь это его перу, перу Девушкина, принадлежит добрая половина текста «Бедных людей»; ведь и его письма, как и письма Вареньки, из которых Достоевский «составил» произведение, являются литературной реальностью. Стоит только вспомнить его полное настоящей художественности описание трагедии семейства Горшковых, или воссозданную им на бумаге сцену с оторвавшейся пуговкой во время приема у его превосходительства... Нет, Макар Алексеевич настоящий сочинитель «натуральной школы», только по своей чрезмерной скромности и привычке стушевываться не подозревающий об этом. Впрочем, он ярко представляет себе, какой конфуз пришлось бы пережить ему, появившись в свет книжечка «Стихотворения Макара Девушкина». В своем первом произведении Достоевский уже в полной мере применил прием, который станет основополагающим во всем его творчестве — он передал слово героям, сделал их соавторами текста, наделил их самостоятельностью творчества, самостоятельностью суждений и выводов (что впоследствии, уже в XX в., М. Бахтин определит как «полифоничность»), а в итоге сделал героев предельно живыми и убедительными. В письме к М.М. Достоевскому (1 февраля 1846), говоря о критиках, Достоевский писал: «Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не по-

казывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может...»

Судьба этого героя, увы, безрадостна — как ни умолял Девушкин Вареньку не идти замуж за господина Быкова, даже и самоубийством угрожал, но непоправимое случилось, и Макар Алексеевич остается в полном одиночестве. Уже из более позднего рассказа «Честный вор» (1848) читатель опосредованно узнает о том, что бедный Девушкин повторил судьбу пушкинского героя Вырина, из повести «Станционный смотритель», которая некогда потрясла его, — спился и погиб.